

ГЛАВА ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРА В ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НАЧАЛА XVII в.

В русской истории — в том виде, как она писалась дворянскими и буржуазными историками XIX в., — есть одно странное и вызывающее недоумение обстоятельство.

Сильные характеры и яркие характеристики этих сильных характеров возникают в изложении ее только с XVI в.

Это особенно ясно уже у Карамзина. Карамзин ставил себе одной из главных задач раскрыть читателю "характер наших древних героев". И при этом он признавался сам: "До сих пор (т. е. до XVI в.) я только хитрил и мудрил, выпутываясь из трудностей. Вижу за собою песчаную степь африканскую"¹. Первым характером, на котором прерывалась эта "степь африканская" для Карамзина, был характер Грозного. В письме к А. И. Тургеневу он сообщал: "Оканчиваю Василья Ивановича и мысленно уже смотрю на Грозного, какой славный характер для исторической живописи! Жаль, если выдам историю без сего любопытного царствования! Тогда она будет, как павлин без хвоста"².

Казалось бы, Иван Грозный — первый сильный характер в изложении русской истории. За ним следует ряд других: Борис, Самозванец, Гермоген...

Ту же мысль — об отсутствии до Грозного ярких характеров в повествовательных источниках по русской истории — находим мы и у В. О. Ключевского: "Исторические памятники XIV и XV вв. не дают нам возможности живо воспроизвести облик каждого из этих князей. Московские великие князья являются в этих памятниках довольно бледными фигурами, преемственно сменявшимися на великокняжеском столе под именами Ивана, Семена, другого Ивана, Димитрия, Василия, другого Василия. Всматриваясь в них, легко заметить, что перед нами проходят не своеобразные личности, а однообразные повторения одного и того же фамильного типа. Все московские князья до Ивана III, как две капли воды, похожи друг на друга, так что наблюдатель иногда затрудняется решить, кто из них Иван и кто Василий"³.

И у Ключевского, как и у Карамзина, яркие характеристики "древних героев" русской истории начинаются только с Грозного.

Вспомним, что и у других историков, и в исторической беллетристике, и в исторической драматургии, и в исторической живописи главные характеры, привлекая наибольшее внимание ученых, поэтов, драматургов, беллетристов, художников, — это Грозный, Борис, Самозванец, Шуйский, Гермоген и т. д. Чем объяснить такое странное положение? Неужели и в самом деле сложные и сильные характеры появляются в русской истории только с половины XVI в.?

Как это было видно из приведенных слов Ключевского и как будет ясно из дальнейшего, многое в этом положении зависело от самих исторических источников. Это особенно ясно у Карамзина, который ставил себе главной задачей художественный пересказ древних источников. Однако и в других случаях, когда мы

имеем дело с тем же "художественным" воссозданием исторической действительности (у Соловьева, у Ключевского), мы видим то же следование источникам, их характеристикам. Образы русских исторических деятелей второй половины XVI — начала XVII в. были подсказаны этими источниками главным образом "художественно". Поразительные по своеобразию характеристики, созданные в повествовательной литературе начала XVII в., воздействовали на всю историческую литературу последующего времени. Пересматривались факты, но не пересматривались характеристики. Критически взвешивались все сведения частного характера, но в обрисовке действующих лиц истории ученые и писатели нового времени долго оставались в плену у художественных образов, созданных авторами начала XVII в.

Начало XVII в. было временем, когда человеческий характер был впервые "открыт" для исторических писателей, предстал перед ними как нечто сложное и противоречивое⁴. До XVII в. проблема "характера" вообще не стояла в повествовательной литературе. Литература древней Руси была внимательна к отдельным психологическим состояниям. Как мы увидим в дальнейшем, эта внимательность в XIV и последующих веках бывала иногда даже чрезмерной. Психологические состояния, отдельные человеческие чувства, страсти рассматривались со столь близкого расстояния, что они заслоняли собой самого человека, казались огромными, преувеличенными и не связанными друг с другом. Жития, хронограф, религиозно-дидактическая литература описывали душевные переломы, учили о своеобразной "лестнице страстей", о саморазвитии чувств и т. д. Этот интерес к человеческой психологии диктовался теми особыми целями, которые ставила перед собой проповедническая и житийная литература. Громадный опыт изучения человеческой психологии не применялся к светским героям русской истории.

Жанровые разграничения в древнерусской литературе, как это мы увидим позднее, были настолько велики, что опыт одного жанра не скоро мог быть перенесен в другой. То, что казалось уместным при анализе психологии рядового грешника, рядового человека, служившего объектом церковной проповеди, или при анализе психологии святого, не сразу могло быть перенесено на лицо вполне светское — на русского князя, русского боярина, военачальника.

Вот почему возможность углубиться в психологию исторического деятеля, анализировать не отвлеченный объект дидактических размышлений, и не идеального святого, и не одно какое-либо человеческое чувство, психологическое состояние и т. д., а конкретного современника явилась целым открытием в литературе. И это "открытие" настолько поразило воображение исторических писателей, что они в основном устремили свое внимание именно сюда, на сложность человеческой личности, поставили ее в центр своих сочинений и свое отношение к историческим характерам сделали главным объектом своего писательства. Характеристики, данные ими своим современникам, и создали впечатление у историков XIX в., что "характеры" в русской истории появляются только с Грозного.

Уже в XVI в. постепенно формируется новый тип исторических произведений и новое отношение к самому историческому материалу. Старые летописные принципы

работы — составление сводов, исторических компиляций с сохранением в их составе предшествующих исторических сочинений как своего рода документального материала⁵, в XVI в. в значительной мере поколеблены. Авторы исторических сочинений XVI в. стремятся к проведению в основном двух новых принципов: единства точки зрения на исторические события и единства темы исторических сочинений.

Требование единства точки зрения на весь описываемый исторический процесс сказывается, прежде всего в отношении авторов к материалу, послужившему источником их работы. Летописцы предшествующих XI—XV вв. подвергали тексты используемых ими летописей весьма скупой и осторожной переработке. Они пытались сохранить тексты своих источников. Поэтому в летописи не было единой авторской точки зрения, а выражались взгляды многих авторов, более или менее поверхностно редактировавшиеся последним из летописцев, объединявшим летописные тексты своих предшественников. В летописи до XVI в. господствует многоголосость. Историки же XVI в., будь то автор Степенной книги или автор Истории о Казанском царстве, усиленно перерабатывают используемый ими материал, стремясь к единству всего повествования: идейному и даже стилистическому. Они стремятся к строгому и постоянному подчинению всего исторического повествования единой авторской точке зрения. Политическая точка зрения авторов исторических произведений никогда прежде не выступала с такою отчетливостью, никогда прежде не была проведена с таким упорством во всем изложении. Авторы исторических произведений XVI в. проявили необыкновенное трудолюбие в преодолении всяческих трудностей на этом пути, в том числе и стилистических (вспомним стилистическую отделку Степенной книги, Истории о Казанском царстве и др.). Появляется последовательно проведенная единая точка зрения автора, развивается индивидуальный авторский стиль, — гораздо резче выраженный, чем раньше.

Требование единства темы привело к образованию нового типа исторического повествования: сочинений, посвященных ограниченному историческому периоду или одному историческому лицу. Предшествующие летописи, как правило, начинались "от сотворения мира" либо от начала Русской земли. Даже узкоместные летописи открывались обычно с сокращенного изложения событий, описанных в Повести временных лет, или с кратких выдержек из хронографов. Этот летописный тип изложения сохраняется и в XVI в. (Никоновская летопись, Лицевой свод), но рядом с ним вырастает и новая форма исторического повествования: "Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича", посвященный только Грозному; "История о великом князе московском Иване Васильевиче", также посвященная только Грозному; История о Казанском царстве, повествующая только о Казани, и др. Во всех этих произведениях единство темы облегчало пронизывание всего повествования единством точки зрения, и, напротив, единая точка зрения приводила к сужению исторического повествования до одной темы: биографии монарха, описания истории одного города, княжества или до обзора исторических событий ограниченного периода.

Но, кроме этих двух взаимосвязанных новшеств исторического повествования XVI в. — единства точки зрения на исторические события и единства темы

исторического повествования, — уже XVI век дает себя знать и в пробуждении интереса к исторической личности. Именно историческая личность становится в центр повествования "Летописца начала царства", "Истории о великом князе московском", Степенной книги. В Никоновском летописном своде этот интерес к исторической личности проявляется в риторическом развитии характеристик (особенно некрологических), в снабжении упоминаний об исторических лицах генеалогическими справками, в подробных мотивировках действий тех или иных исторических лиц.

Необходимо отметить, однако, что на первых порах речь может идти только о развитии интереса к историческим личностям, к повышению их веса в историческом повествовании, но не о появлении нового отношения к этим личностям, не о новом понимании их характеров. Это достаточно отчетливо видно хотя бы на примере Степенной книги. Степенная книга служит ярким образцом интереса к личности русских исторических деятелей. Вся русская история сводится в ней к биографиям великих князей и митрополитов, к их характеристикам. Но в каждой из этих биографий и характеристик нет еще пока ничего качественно нового. Весь арсенал средств для характеристик заимствован в Степенной книге, как это неоднократно отмечалось уже, из житийной литературы или реже из Хронографа. Степенная книга была явлением, параллельным макариевским Четым минеям, и не случайно, что обе эти "энциклопедии" XVI в. вышли из одного и того же кружка книжников. Но житийная похвала не была еще характеристикой в полном смысле этого слова: "Житие — не биография, — говорит В. О. Ключевский, — а назидательный панегирик в рамках биографии, как и образ святого в житии — не портрет, а икона"⁶.

Следовательно, XVI век отмечен ростом интереса к историческим личностям, но этот рост — пока лишь количественный; качественно интерес этот остается все тем же. Новое понимание человеческого характера начинает слагаться лишь в произведениях XVII в., посвященных "Смуте"⁷. Они-то и составят главный предмет нашего дальнейшего рассмотрения.

Исторические сочинения первой половины XVII в., посвященные "Смуте", резко отделяются от предшествующих летописей рядом особенностей и, в первую очередь повышенным интересом к человеческому характеру и новым к нему отношением. Характеристики составляют отныне одну из главных целей исторического повествования, они не только увеличиваются количественно, но и изменяются качественно. По сути дела "Временник" дьяка Ивана Тимофеева представляет собою собрание характеристик деятелей "Смуты" и событий "Смуты". Вследствие этого автор не стремится к фактической полноте и последовательному хронологическому изложению событий. Тимофеев не столько описывает факты, сколько их обсуждает. Его "Временник" не отличается в том, что касается событий после правления Шуйского, последовательной связью изложения: это очерки и характеристики, — в особенности последние.

Так же точно и "Словеса дней и царей и святителей московских" Ивана Хворостинина состоят в основном из характеристик деятелей "Смуты", начиная от Бориса Годунова. Во вступлении к своему труду Хворостинин выясняет цели своего

труда: он желает описать "пастырей наших детели", подвиги "великодушных муж, и бескровных мучеников, и победоносцев"⁸.

То же самое может быть сказано и о "Повести" кн. И. М. Катырева-Ростовского, в конце которой помещено даже особое "Написание вкратце о царех московских, о образех их, и о возрасте, и о нравех"⁹.

В известной мере тем же стремлением к обсуждению характера исторических личностей отмечено и "Сказание" Авраамия Палицына, и "Иное сказание", и "Повесть" С. Шаховского, и мн. др.

Этим интересом к интерпретации событий, а не к их фиксации, и в особенности к характеристикам участников этих событий отличается вся литература о "Смутном времени". Однако с наибольшей четкостью эта новая черта исторического сознания сказывается в русских статьях Хронографа второй редакции. Литературные достоинства второй редакции Хронографа и значение ее в развитии исторического знания на Руси до сих пор еще остаются недостаточно оцененными.

Самый состав Хронографа второй редакции обнаруживает в его авторе человека с незаурядной широтой исторических интересов. Предшествующая всемирная хронография в пределах от XI и до XVII в. в гораздо большей степени, чем русское летописание, была подчинена религиозным задачам. Всемирная история трактовалась по преимуществу как история церкви, как история православия в борьбе с ересями. Вторая редакция Хронографа — первый и крупный шаг на пути секуляризации русской хронографии. Это отчетливо выступает в тех дополнениях, которыми распространил автор второй редакции основное содержание Хронографа. Здесь и новые статьи из Еллинского летописца (преимущественно выдержки из Хроники Иоанна Малалы, касающиеся античной истории), здесь и сочинения Ивана Пересветова, и дополнения из католических хроник Мартина Вельского и Конрада Ликостена. Из этих последних выписаны статьи географического содержания (например, об открытии Америки), статьи по античной мифологии или общие статьи о магометанстве, по истории пап, по истории западноевропейских стран, по истории Польши. Всё это не имело ни малейшего отношения к истории православия и даже противоречило ей. Не меньший интерес имеют и вновь включенные статьи, посвященные описанию наружности богоматери (из слова Елифания Кипрского "О житии пресвятыя владычица наша Богородице") и наружности Христа ("Описание же божественныя Христовы плоти и совершеннаго возраста его"). В них сказывается интерес к реальному "портрету".

Благодаря всем этим дополнениям Хронограф второй редакции (1617 г.) отличается значительно более светским характером, чем предшествующий ему Хронограф первой редакции (1512 г.). Однако наиболее отчетливо этот светский характер второй редакции Хронографа обнаруживается в его подробном повествовании о событиях "Смуты".

Как уже давно было отмечено¹⁰, рассказ Хронографа 1617 г. о событиях русской истории XVI—начала XVII в. представляет собою единое и стройное произведение. Это ощущается не только в стилистическом и идейном единстве всего повествования, но прямо подчеркивается автором постоянными перекрестными ссылками: "о нем же

впереди речено будет в Цареградском взятии"¹¹, "о нем же впереди речено будет"¹², "о нем же писах в царстве блаженныя памяти Феодора Ивановича"¹³, "о нем же писах и прежде"¹⁴ и т. п.

Важно при этом отметить, что и само это произведение, как и вся композиция второй редакции Хронографа, идет по пути той же секуляризации исторической литературы. В нем нет ссылок на священное писание, нет религиозного объяснения событий. Автор не приписывает "Смуту" наказанию божию за грехи всех русских людей, как это еще делают другие сочинители исторических произведений первой половины XVII в.

Этот светский дух пронизывает собою и всю систему характеристик деятелей русской истории. Перед нами в Хронографе второй редакции действительно "система" характеристик: теоретически изложенная в кратких, но чрезвычайно значительных предложениях и практически примененная в изображении действующих лиц "Смуты". Эта "система" противостоит средневековой, она подвергает сомнению основные принципы агиографического стиля. В ней нет резкого противопоставления добрых и злых, грешных и безгрешных, нет строгого осуждения грешников, нет "абсолютизации" человека, столь свойственной идеалистической системе мировоззрения средневековья.

В предшествующее время человек, особенно в житийной литературе, выступает по преимуществу либо абсолютно добрым, либо абсолютно злым. Исследователь творчества Пахомия Серба В. Яблонский пишет, например: "Подвижники рождаются у Пахомия такими же святыми, какими и умирают. Эта несообразность с законом естественного развития всякой человеческой жизни не препятствует трудам Пахомия быть поучительными панегириками: в жизни подвижников мы не находим ни единого темного пятна от раннего детства до блаженной кончины в старости глубокой..."¹⁵. Правда, в литературе исторической эта идеализация и абсолютизирование нарушались сплошь и рядом, но эти нарушения были бессознательными, они не входили в художественный замысел автора, они происходили под влиянием воздействия самой действительности, дававшей материал для изображения человека, или под влиянием тех литературных образцов, которые писателю служили. Противоречивые черты могут быть замечены в изображении Дракулы в "Повести о Мутьянском воеводе Дракуле" (он справедлив и одновременно извращенно жесток), в изображении отдельных летописных героев и т. д. Однако противоречивость характера исторического деятеля никогда еще не отмечалась в письменности особо. Она не осознавалась, не декларировалась авторами, хотя невольно уже и изображалась¹⁶. Никогда исторические писатели сознательно не ставили себе целью описать эту противоречивость. Она слагалась как бы стихийно, слагалась в сознании читателя, а не в намерениях и тем более не в декларациях авторов.

Впервые исторические писатели открыто заговорили о противоречивости человеческого характера только в начале XVII в. Особенно ярко это сказалось в Хронографе второй редакции. Человеческий характер объявляется автором второй редакции Хронографа сотканным из противоречий, сложным, в известной мере "относительным", соотнесенным со средой, условиями жизни, особенностями биографического порядка. "Не бывает же убо никто от земнородных безпорочен в

житии своем"¹⁷, — объявляет автор Хронографа. "Но убо да никто же похвалится чист быти от сети неприязньственаго злокозньствия врага", — повторяет он. "Во всех земнородных ум человек погрешителен есть, и от добраго нрава злыми совратен"¹⁸, иначе говоря, — каждый человек в той или иной степени "совращен" от "добраго нрава", данного ему при рождении. Нет, следовательно, во-первых, людей только злых или только добродетельных, и, во-вторых, человеческий характер формируется жизнью.

Живой пример такого "совращения" доброго нрава на злой — Иван Грозный. Первоначально Грозный — образец доброго, мудрого и мужественного царя: "Он же убо имый разум благообычен, и бысть зело благоумен, еще же и во бранех на супротивныя искусен, велик бе в мужестве, и умеа на рати копием потрясати, воиничен бо бе и ратник непобедим, храбросерд же и хитр конник; той убо варварския страны аки молния борзо обтече, и вся окрестныя устраши, и прегордыя враги покори. Бысть же и во словесной премудрости ритор, естествословен, и смышлением быстроумен, доброзрачен же и благосерд в воинстве, еще же и житие благочестиво имый, и ревностью по бозе присно препоясая..."¹⁹. Но стоило умереть Анастасии Романовой, поддерживавшей в Грозном его "добрый" от природы нрав, как характер его резко меняется — от старого не остается и следа. Перед нами другой человек, с диаметрально противоположным характером: "Блаженная же и предобрая супруга его не во многих летех ко господу отиде, и потом аки чюжая буря велия припаде к тишине благосердия его, и не вем, како превратися многомудренный его ум на нрав яр, и нача сокрушати от сродства своего многих, такоже и от велмож синклитства своего; во истину бо сбысться еже в притчах реченное: яко парение похоти пременяет ум незлобив. Еще же и крамолу междоусобную возлюби, и во едином граде едины люди на другия поусты, и прочая опричиненныя нарече, другия же собственны себе учини, земщиною нарече. И сицевых ради крамолств сына своего большаго царевича Ивана, мудрым смыслом и благодатию сияюща, аки незрелый грозд дебелим воздухом отрясе, и от ветви жития отторгну, о нем же неции глаголаху, як от отца своего ярости прияти ему болезнь, от болезни же и смерть..."²⁰.

Если в этой характеристике Грозного автор второй редакции Хронографа еще зависит от Курбского и, следуя за этим последним, распределяет добродетели и злодеяния Грозного во времени, относя первые к первой половине царствования, а вторые ко второй, то во всех последующих характеристиках автор второй редакции Хронографа уже не прибегает к такому механическому разделению свойств характера во времени. Он совмещает их одновременно в одном и том же человеке, впервые в истории русской исторической мысли сознательно создавая жизненно-противоречивые характеристики исторических лиц, создавая образы, полные "шекспировских" противоречий, драматизируя историю душевной борьбой, внося в них коллизии, борьбу и творя характеры, которые впоследствии действительно привлекли внимание драматургов.

Сознательной противоречивостью исполнена характеристика Бориса Годунова; противоположные качества его натуры как бы нарочно сопоставлены, сближены в одной и той же фразе с тем, чтобы подчеркнуть противоречие: Борис "аще и зело прорассудительное к народом мудроправльство показа, но обаче убо и царстей чести зависть излия"²¹. Подробная характеристика Бориса, с которой начинается

повествование о его царствовании во второй редакции Хронографа, вся построена на этом совмещении положительных и отрицательных качеств его характера: "Сей убо государь и великий князь Борис Федоровичь Годунов в свое царство в Руском государстве градов и монастырей и прочих достохвалных вещей много устроив, ко мздоиманию же зело бысть ненавистен, разбойства и татьбы и всякого корчемства много покусився еже бы во свое царство таковое не богоугодное дело искоренити, но не возможе отнюд. Во бранех же неискусен бысть: время бо тому не настояше, оруженосию же не зело изящен, а естеством светлодушен и нравом милостив, паче же рещи и нищелюбив, от него же мнози доброкапленныя потоки приемльше и от любодаровитыя его длани в сытость напитавшися, всем бо не оскудно даяния простирашися не точию ближним своим и сыновом руским, но и странным далним и иноплеменным аки море даяния и озеро пития разливашися всюду, яко камения и древа и нивы вся дарми его упокоишася, и тако убо цветяся аки финик листвием добродетели. Аще бы не терние завистныя злобы цвет добродетели того помрачи, то могл бы убо всяко древним уподобитися царем, иже во всячественем благочестии цветущим. Но убо да никто же похвалится чист быти от сети неприязньствен аго злокозньствия врага, понеже сей перстною плотию недуговаше, зело возлюби, и к себе вся ориправляя, и аки ужем привлекаше"²².

Из тех же противоречивых черт соткана и характеристика патриарха Гермогена. Признавая, что Гермоген был "словесен муж и хитроречив", составитель второй редакции Хронографа тут же добавляет: "но не сладкогласен", и дальше: "а нравом груб и бывающим в запрещенных косен к разрешениям, к злым же и благим не быстро распрозрителен, но ко лстивым паче и лукавым прилежа и слуховерствователен бысть"²³.

Соткана из противоположных качеств в Хронографе и характеристика Ивана Заруцкого: "Не храбр, но сердцем лют и нравом лукав"²⁴. Достаточно сложна характеристика Козмы Минина: "Аще и не искусен стремлением, но смел дерзновением"²⁵ и т. д.

Вслед за автором второй редакции Хронографа эти противоречивость, контрастность человеческого характера подчеркивают и другие авторы исторических сочинений первой половины XVII в.

Прямолинейность прежних летописных характеристик по немногим рубрикам (либо законченный злодей, либо герой добродетели) исчезает в произведениях начала XVII в. Прямолинейность предшествующих характеристик отброшена — и с какою решительностью! Вслед за второй редакцией Хронографа наиболее резко сказывается новый тип характеристик во "Временнике" Ивана Тимофеева. Характеристика Грозного составлена Иваном Тимофеевым из риторической похвалы ему и самого страстного осуждения его "пламенного гнева". Все люди причастны греху: "... сиче и сему (т. е. Грозному), осрамившуся грехом, ему же причастии вси"²⁶. Тимофеев дает разностороннюю и очень сложную характеристику Борису Годунову и утверждает, что обязан говорить и о злых, и о добрых его делах: "И яже злоба о Борисе извещана бе, должно есть и благодеяний его к миру не утаити"²⁷.

Тимофеев как бы считает себя обязанным писать о добродетелях Годунова, поскольку он пишет и о его "злотворных": "Елика убо злотворная его подробну написати подщажомся, сице и добротворивая о нем исповедати не обленимся"²⁸.

Двойственность, контрастное совмещение скверных и добрых качеств в характеристиках Тимофеев считает знаком их беспристрастности: "И да никто же мя о сих словесы уловит, иже о любославнем разделением: во овых того есмь уничижая, в прочих же, яко похваляя"²⁹. И в другом месте: "...егда злотворная одинако изречена бы, добрая же от инех сказуема, нами же умолкнута, — яве неправдование обнажилось бы списателево; а иже обоя вправду известуема без прилога, всяка уста заградятся"³⁰, т. е. никто не сможет возразить и упрекнуть автора в пристрастии, в односторонности, если он будет отмечать в человеке и злые и добрые черты. Положительная же или отрицательная характеристика лишь обнажает "неправдование" писателя, его необъективность.

Иван Тимофеев не может решить, какая из чаш весов перетянет после смерти Бориса: "В часе же смерти его никто же весть, что воздоле и кая страна мерила претягну дел его: благая, ли злая"³¹.

Так же, как и автор второй редакции Хронографа, Иван Тимофеев не рассматривает злое и доброе начала в характере человека как нечто извечное и неизменное. Впервые в русской литературе писатели начала XVII в. стремятся выяснить причины появления и роста в характере исторического лица тех или иных качеств, рассматривают влияние одного человека на другого. Автор второй редакции Хронографа отмечает доброе влияние Анастасии Романовой на Грозного, с исчезновением этого влияния, после смерти Анастасии, меняется характер Грозного. Иван Тимофеев как один из факторов добродетели в характере Бориса отмечает доброе влияние на него со стороны царя Федора Иоанновича: "На вем вещи силу сказати, откуда се ему доброе прибысть: от естества ли, ли от произволения, ли за славу мирскую... Мню бо, не мал прилог и от самодержавного вправду Феодора многу благу ему навикнути, от младых бо ногот придержася пят его часто"³².

Впервые, следовательно, в русской литературе применительно к историческим деятелям был поднят вопрос о факторах, вызывающих появление тех или иных черт в человеческом характере. Вневременная и абсолютная сущность человеческого характера, какой она представлялась в средневековье, поколеблена. Автора уже не смущает изменчивость характеров, как не смущают и контрасты в них. Иван Тимофеев различает в исторических деятелях следующие слагаемые их характера наряду с "естеством": "произволение", т. е. свободный выбор человека, "за славу мирскую", т. е. тщеславие — оглядку на людское мнение, и, наконец, непосредственное влияние других людей — в данном случае царя Федора.

Перемена этих слагаемых вызывает изменения в человеческом характере. Так же, как у автора второй редакции Хронографа Грозный, у Ивана Тимофеева Борис Годунов меняет свой характер под влиянием изменения внешней обстановки. Эта перемена картинно изображена Иваном Тимофеевым: "Сице и Борис, егда в равночестных честен бе и по цари вся добре управляя люди, тогда по всему благ являлся, во ответех убо обреташеся сладок, кроток, тих, податлив же, и любим бываше всем за обиды и неправды всякия от земля изытелство, яко едину ему такову

по цари праведну тогда мняху вси во всецарствии обрестися. Сего, такового правосудства ради, и к церковию помазанию вси людие земля о нем усладившеся предкиущася: в получении жь толика преестественна выотою сана и несвойственна ему такова по всему чина, егда паче естества си совершено одеса преславнаго царствия превсесветлаго благолепия порфирию, тогда мирови о мнящихся ими благих солган бысть надежду, еже о нем чаянием упования лучшаго, к нему купно и душевнe верую. По получении же того величеством абия претворся и нестерпим всяко, всем жесток и тяжек обрется; о людех варив благотворением малем и прельсти державу свою"³³.

Сложная и контрастная характеристика Бориса обошла всех писателей, писавших о "Смуте" после 1617 г. Она сказалась не только во "Временнике" Ивана Тимофеева, но и в "Словесах дней и царей и святителей московских" Ивана Хворостинина. У него мы видим то же совмещение в образе Бориса противоречивых качеств: "Аще бо и лукав сый нравом и властолюбив, но зело и боголюбив; церкви многи возгради и красоту градскую велелепием исполни; лихоимцы украти, самолюбных погубив, областей странным страшен показася, и в мудрость жития мира сего, яко добрый гигант, облечеся и приим славу и честь от царей". А затем без всякого перехода: "И озлоби люди своя, и востави сына на отца и отца на сына, и сотвори вражду в домех их, и ненавидение и лесьть в рабех сотвори, и возведе работных на свободных, и уничижи господа на началствующих, и соблазни мир и введе ненависть, и востави рабов на господей своих, и власти сильных отъят, и погуби благородных много, иже нелепо есть днесь простерти слово, да не постигнет нас время, повести деюще"³⁴.

Контрастная характеристика Бориса предложена читателям и в "Повести" И. М. Катырева-Ростовского: "Бысть же той Борис образом своим и дела множество людей превозшед; ништо бе ему от царских синклит подобен во благолепие лица его и в разсуждение ума его; милостив и благочестив, паче же во многом разсуждении доволен, и велеречив зело, и в царствующем граде многое дивное о себе творяше во дни власти своя. Но токмо едино неисpravление имяше перед богом и всеми людми: во уши его ложное приношаху; радостно тово послушати желаше и оболганных людей без рассуждения напрасно мучителем предаваше. И властолюбив велми бываше, и начальников всего Росийского государства и воевод, вкупе же и всех людей московского народу, а подручны себе учини, якоже и самому царю во всем послушну ему быти и повеленное им творити"³⁵.

Остались чужды этой характеристики Бориса лишь "Иное сказание", хотя и испытывавшее влияние второй редакции Хронографа, но в своей начальной части более всего зависящее от "Повести, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов"³⁶, и "Сказание" Авраамия Палицына в основной своей редакции, составленное, еще до 1617 г.

Проблема человеческого характера встала, таким образом, перед историческими писателями первой половины XVII в. во всей ее сложности, какая только могла быть доступна в эту эпоху. Постановка этой проблемы повлекла за собой пересмотр многих основ средневековой оценки исторических явлений, средневековых исторических воззрений в целом. Самое зло и добро в применении к человеческому характеру оказались относительными. Эту мысль прямо декларирует автор второй редакции

Хронографа, поясняя, что от зла может произойти добро, а от добра зло: "Бывает бо по случаю и пелынная лютость врачевания ради недуг в достохвалных словесех приобношается, тако же и от сеговыя злобы произыде доброта"³⁷.

Замечательно, что характеры исторических лиц показаны в произведениях о "Смуте" не изолированно. Они раскрываются в связи со слухами о них, в связи с народной молвой. В летописи не встречается передачи разных точек зрения на события, не согласных с авторской, характеристик неавторских. Между тем авторы исторических произведений о "Смуте" постоянно ссылаются на различные слухи, разговоры, толки, отчетливо осознавая значение "общественного мнения".

Автор второй редакции Хронографа ссылается на разговоры о ссылке Нагих в Углич³⁸, об убийстве Борисом царевича Дмитрия³⁹, о поставлении Филарета Никитича⁴⁰ и т. д.

Характеры исторических лиц показаны на фоне народных толков о них. Вот как характеризуется, например, Самозванец: "... глаголаша же о нем мнози, яко по всему уподобитися ему нравом и делом скверному законопреступнику нечестивому мучителю царю Иулиану"⁴¹. Передается и мнение народа о сыне Бориса — Федоре Борисовиче: "...о нем же мнози от народа тайно в сердцах своих возрыдаша за непорочное его житие"⁴².

Автор второй редакции Хронографа не стесняется приводить мнения, резко расходящиеся с его собственными. Он собирает все "за" и "против", подвергая их строгому разбору. Так, например, в Хронографе полностью переданы слова Сторонников Тушинского вора о Василии Шуйском, которого автор второй редакции Хронографа в общем идеализирует. Эти "крамольницы" и "мятежницы" так отзывались о Шуйском: "...а ныне его ради кровь проливается многая, потому что он человек глуп и нечестив, пьяница и блудник и в сячествованьем неистовей, царствования недостоин"⁴³. В противовес этому мнению приводится и другое: "Сия же слышавше и мнози от народа рекоша к ним сице: "государь наш царь и великий князь Василей Ивановичь сел на Московское государство не сильно, выбрали его быти царем большие бояре и вы, дворяне, и все служилые люди, а пьянства и всякого неистовства мы в нем не ведаем; а коли бы таковому совету быти, ино бы тут были большие бояре да и всяких чинов люди"⁴⁴.

То же восприятие характера исторического лица через народную молву, слухи, иногда сплетни опять-таки встречается и во "Временнике" Ивана Тимофеева, и в "Словесех дней" Ивана Хворостинина.

У Тимофеева окружена народной молвой смерть Грозного: "Глаголаху же нецыи, яко прежде времени той, яростнаго ради зельства, от своих раб подъя угашение своая жизни, яко же и чадом его по нем они сотвориша тожде. Смерти же его во странах языческих, яко о празднице светле, много сотворися радость, и весело восплескаша руками"⁴⁵.

У Хворостинина в связи с народными толками дана характеристика Гермогена: "...яко же слышахом, етери глаголюще, яко соблазн и смущение патриарх той сотворил есть и возведе люди своя братися на враги, владуща нами..."⁴⁶

Итак, характеры исторических героев не неизменны, они могут изменяться под влиянием других людей или с переменой обстоятельств. В них могут совмещаться и дурные и хорошие качества. Человек по природе своей ни абсолютно добр, ни абсолютно зол. Беспорочных людей нет. Противоречивость, контрастность авторских характеристик исторических лиц служат как бы удостоверением объективности их изображения, так как только таким и может быть человек в представлениях первой половины XVII в. Характер человека преломляется в толках о нем. Историческое лицо оценивается в исторической перспективе, в его "социальной функции".

Это новое представление о человеческом характере сказывается во всех деталях восприятия исторических лиц.

Старые средневековые добродетели уже лишены своего положительного значения. Безусловные добродетели оказываются относительными. Добродетели, заложенные в характере исторических лиц, сыгравших отрицательную роль в русской истории, оказываются только вредными. О Дмитрие Самозванце автор второй редакции Хронографа говорит: "...ко книжному прочтанию борзозрителен, но не на благо"⁴⁷. Внешность человека уже не соответствует, как раньше, его характеру. Иван Тимофеев так, например, описывает внешность своих современников, легкомысленно предавшихся Самозванцу: "Вместо разума токмо седину едину имуще и брадную власом долготь, юже являху людем и красахуся тою, яко мудрии"⁴⁸. Всё большее и большее значение в характеристике исторических лиц приобретают их поведение, их действия. Это отчетливо видно в тех случаях, когда сравнение, образ, применяемый к человеку, имеет в виду его действия, но не его внутреннюю сущность, которая, как мы видели, в известной мере признавалась непознаваемой. Автор второй редакции Хронографа вряд ли считает патриарха Гермогена похожим на птицу и, тем не менее, пишет, что его "аки птища в заклетѣ гладом умориша"⁴⁹.

Вследствие этой манеры применять к историческим лицам различные образные сравнения по их функциям, по их действию, а не по их сущности, авторы прибегают к таким сравнениям людей, которые, казалось бы, совершенно не шли к ним, с точки зрения эстетической системы нового времени: историческое лицо может быть уподоблено реке, буре, молнии, горе, раю, ограде и т. д.; оно может быть сравниваемо с различными дикими зверями, внешне мало похожими на человека. Автор второй редакции Хронографа сравнивает Бориса Годунова с "морем", с "езером"⁵⁰; Дмитрия Самозванца он называет "злодыхательной бурей"⁵¹. Тушинский вор — "злобесный и кроволакательный пес, или человекоядный зверь, иже лукавое око отверзе и злое рыкание испусти"⁵². Федор Иоаннович, говорит автор второй редакции Хронографа, "ограда бысть многих благ, яже водами божиими напояема, или рай одушевлен, иже храня благодатная садовия"⁵³. Его же он называет "свещами страны Руския"⁵⁴.

Все эти несовместимые с нашим эстетическим сознанием сравнения объясняются тем, что человек подвергается характеристике по "функции", по своим "делам". Об этом прямо однажды и заявляет автор второй редакции Хронографа, характеризуя Тушинского вора: "...се другое зло прииде, другой зверь подобен первому явился не образом, но делы"⁵⁵.

Внешне этот способ характеристики человека еще очень близок к средневековой системе, к системе Хронографа 1512 г.⁵⁶ — самые образы старые, но функция их в значительной мере новая, поскольку новым оказывается самое видение человеческого характера, восприятие человеческой личности, ее оценка. И то, и другое, и третье оказываются бесконечно более сложными, чем в предшествующий период, и вместе с тем более реальными, более близкими действительности.

В чем же исторические корни новых воззрений на человеческую личность, нашедших себе место в литературных произведениях начала XVII в.?

Новое отношение к человеческому характеру отразило общее накопление общественного опыта и отход от теологической точки зрения на человека, начавшийся в XVI в. и усиленно развивавшийся в XVII в.

Период крестьянской войны и польско-шведской интервенции способствовал огромному накоплению опыта социальной борьбы во всех классах общества. Именно в это время вытесняется из политической практики, хотя еще и остается в сфере официальных деклараций, теологическая точка зрения на человеческую историю, на государственную власть и на самого человека.

Чтобы представить себе конкретно влияние нового социального опыта на литературу, обратимся к некоторым фактам. Мы видели выше, что обсуждению в литературе подвергались в первую очередь характеры монархов. Это далеко не случайно. Здесь сказалась новая практика поставления на царство "всею землею". Если в XVI в. Грозный в своих посланиях к Курбскому отрицал право подданных судить о действиях своего государя, утверждал богоизбранность монаршей власти, а в посланиях к Стефану Баторию насмешливо отзывался о его поставлении по "многomyтежному человеческому хотению", то вскоре после его смерти это положение резко изменилось: в 1598 г. состоялись первые выборы русского государя "всею землею". Теологическая точка зрения "а происхождение царской власти и идея неподсудности монарха человеческому суду впервые возбудили очень серьезные сомнения.

Утвержденная грамота Бориса Годунова 1598 г., хотя внешне и опирается еще на идею божественного происхождения царской власти, но практически объясняет необходимость власти государя чисто "земскими" причинами. Государь необходим для благосостояния своих подданных и об этом выразительным жестом заявил сам Годунов во время своего венчания на царство: он взял за ворот свою рубашку и потряс ею, обещая и эту последнюю в случае нужды разделить со всеми для блага своих подданных.

Предвыборная горячка, несомненно, разжигала споры о достоинствах того или иного претендента на престол. Характер будущего монарха подвергался обсуждению в боярской думе, на соборе, среди ратников, в толпе народа у стен Новодевичьего монастыря, где народ, подгоняемый приставами, "молил" Годунова на царство.

Уже упомянутая нами Грамота, утвержденная 1598 г., одним из доводов в пользу избрания Годунова на царство выдвигала личные черты его характера: его государственную мудрость, его добродетели и его заботу о "воинском чине".

Черты нового отношения к власти царя мы можем найти и в кресто-целовальной записи Василия Шуйского, и в грамотах патриарха Гермогена, и в июньском приговоре 1611 г., и в Грамоте, утвержденной 1613 г., и т. д.

Крестьянская война постепенно вытравливала из народного сознания старое отношение к монарху как к наследственному, богоизбранному и человеческому суду не подсудному главе государства. Человеческий суд совершился и над Годуновым, и над Василием Шуйским, и над многими самозванцами. Этот суд был сперва судом народного мнения, а затем и судом действия. Характеры монархов обсуждались людьми "юнными", "малыми", "простыми" не в меньшей, может быть, степени, чем в среде боярства и дворянства.

Вслед за монархами обсуждение личных достоинств коснулось и всех руководителей ратного и "земского" дела. Июньский приговор 1611 г. отчетливо отразил мысль о том, что начальниками должны быть люди способные, а не только бояре и княжата. История выдвинула тому конкретный образец — "говядаря" Кузьму Минина.

Черты человеческого характера стали, следовательно, предметами всеобщего обсуждения. Вопрос о них в отдельных случаях приобретал государственное значение. Вот почему и в литературе так часто начало упоминаться народное мнение.

Меньше всего в этом новом критерии для избрания "всенародным единством" монарха или военного 'руководителя было заинтересовано боярство. Поэтому-то характеру русских правителей относительно мало уделяют места боярские писатели начала XVII в.: Авраамий Палицын, Катырев-Ростовский и некоторые другие. К ним, напротив, весьма внимательны писатели — обличители бояр: дьяк Тимофеев, автор второй редакции Хронографа и некоторые другие.

Итак, дело не в том, что сильные и сложные характеры в русской истории начинают якобы появляться только с XVI в., как думал Карамзин, а в том, что сложность человеческого характера становится предметом особого внимания писателей — современников начала XVII в. Сильные и сложные характеры были в русской истории всегда, но лишь с начала XVII в. перед историческими писателями встала особая задача их замечать и описывать. Эта задача была выдвинута перед литературой самой политической жизнью и вместе с тем она ответила внутренним потребностям развития самой литературы. Еще многое в литературе XVII в. в приемах составления характеристик исторических лиц восходит к житийной литературе, к Хронографу, но многое уже видится по-иному. Еще форма остается старой, но уже глаз воспринимает острее и наблюдательнее прежнего. Но самое замечательное в литературе начала XVII в. — это сознательность введения новых принципов характеристик исторических лиц. Авторы XVII в. не только по-новому о п и с ы в а ю т характер исторических лиц, но высказывают п р и н ц и п и а л ь н ы е с у ж д е н и я о том, каким он им представляется.

Недалеко то время, когда и самые приемы изображения человеческого характера изменятся, улягутся в новую литературную систему.

Итак, изменение в отношении авторов XVI—XVII вв. К человеческому характеру может быть изображено в такой последовательности: первоначально растет интерес к психологии исторических личностей, и рост этот отмечен чисто количественным увеличением числа и объема характеристик в произведениях XVI в.; затем авторы исторических произведений начала XVII в. научаются по-новому изображать характер исторических лиц, замечают в нем многое такое, что не было доступно их предшественникам, и одновременно начинают высказывать новые суждения о человеческих характерах, осознавая их сложность. Каждый новый этап в этом "обнаружении" характера непосредственно вызывался исторической действительностью.

Само собой разумеется, что русской литературе предстояло пройти очень длительный путь развития, прежде чем достигнуть в изображении человеческого характера той сложности, которая отличает русскую литературу XIX в. Путь развития русской литературы в изображении человека так же сложен от начала XVII в. до XIX, как и от XI до XVII в. Начало XVII в. являет нам только первые предвестники литературы нового времени.

Перелом начала XVII в. указывает, что в изображении человека не было застоя. Изображение человека претерпевает резкие изменения. Но этими изменениями полна вся древняя русская литература, начиная с XII в. Каждая эпоха, а иногда и каждый жанр в отдельности, развивают свои стили в изображении человека.

¹ М. Погодин. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, т. II. М., 1866, стр. 87; письмо из Парижа 1790 г.

² Там же, стр. 119.

³ В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. II. М.—Пг., 1923, стр. 58—59.

⁴ Мысль об "открытии" человеческого характера в литературе начала XVII в. была впервые высказана О. А. Державиной в статье "Анализ образов повести XVII в. о царевиче Димитрии Угличском". Приведу полностью высказывание О. А. Державиной. Говоря о размышлениях дьяка Ивана Тимофеева по поводу характера Бориса Годунова, О. А. Державина пишет: "Такое размышление над характером человека (мы встречаем его в зачаточном виде и у других писателей начала XVII в.) — большая новость в древней русской литературе, где личность обычно была выразительницей божественной воли или сосудом дьявольским. Правда, у писателей XVII в., рядом с этой новой чертой, почти всюду мы читаем и ссылку на сатану, врага рода человеческого, который влагает злые мысли в голову Бориса, — так, новые черты сосуществуют рядом со старым традиционным, средневековым объяснением. Но все же появление этих элементов подлинной характеристики очень значительно. Оно указывает на растущий интерес к человеку как личности, к его индивидуальному, отличающим его от других людей, особенностям. В сложном образе Годунова древнерусский писатель впервые столкнулся с нелегкой задачей — дать характеристику живого человека, в котором перемешаны и хорошие и дурные качества, которого, как выдающуюся личность с ярко выраженной индивидуальностью, нельзя уложить в привычную схему. И надо сказать, что лучшие из писателей XVII в. справились со своей задачей неплохо. Мешало делу предвзятое мнение, с которым все они вольно или невольно подходили к личности Годунова, и та дидактическая цель, какую они себе ставили" (Уч. зап. МГПИ, т. VII, каф. русск. лит., вып. 1. М., 1946, стр. 30).

⁵ См. мою статью "О летописном периоде русской историографии" (Вопросы истории, 1948, № 9).

⁶ О. Ключевский. Курс русской истории, ч. II, стр. 314—315. См. подробнее ниже, гл. 6.

⁷ Здесь и ниже пользуюсь выражением "Смута" лишь постольку, поскольку оно принадлежит самим писателям начала XVII в., так именно определявшим эпоху, послужившую предметом их исследования.

⁸ Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. Русская историческая библиотека, т. XIII, изд. 2-е, СПб., 1909, стр. 530.

⁹ Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. Русская историческая библиотека, т. XIII, изд. 2-е, СПб., 1909, стр. 619 и сл.

¹⁰ А. Попов. Обзор хронографов русской редакции, вып. 2. М., 1869, стр. 117 и сл.

¹¹ А. Попов. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869, стр. 158.

¹² А. Попов. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869, стр. 188.

- ¹³ А. Попов. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869, стр. 192.
- ¹⁴ А. Попов. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869, стр. 194.
- ¹⁵ В. Яблонский. Пахомий Серб. СПб., 1908, стр. 234.
- ¹⁶ См. об этом и у Я. С. Лурье ("Повесть о Дракуле". М.; Л., 1964, стр. 60—63 и 71). Пользуюсь случаем еще раз подчеркнуть, что стили в изображении человека определяются не только эпохой, но и жанром произведений (см. стр. 127—135 этой книги и соответствующие страницы первого издания), в связи с чем возражения мне Я. С. Лурье на стр. 61 его книги, основывающиеся на предположении, что я якобы рассматриваю стилистические системы "как единые и преобладающие для каждого периода", лишены оснований.
- ¹⁷ А. Попов. Изборник, стр. 186.
- ¹⁸ А. Попов. Изборник, стр. 189, 201.
- ¹⁹ А. Попов. Изборник, стр. 183.
- ²⁰ А. Попов. Изборник, стр. 183.
- ²¹ А. Попов. Изборник, стр. 186.
- ²² А. Попов. Изборник, стр. 189.
- ²³ А. Попов. Изборник, стр. 201.
- ²⁴ А. Попов. Изборник, стр. 201.
- ²⁵ А. Попов. Изборник, стр. 202.
- ²⁶ Временник Ивана Тимофеева. Подготовка к печати, перевод и комментарии О. А. Державиной, М.; Л., 1951, стр. 77.
- ²⁷ Временник Ивана Тимофеева. Подготовка к печати, перевод и комментарии О. А. Державиной, М.; Л., 1951, стр. 63.
- ²⁸ Временник Ивана Тимофеева. Подготовка к печати, перевод и комментарии О. А. Державиной, М.; Л., 1951, стр. 63.
- ²⁹ Временник Ивана Тимофеева. Подготовка к печати, перевод и комментарии О. А. Державиной, М.; Л., 1951, стр. 56.
- ³⁰ Временник Ивана Тимофеева. Подготовка к печати, перевод и комментарии О. А. Державиной, М.; Л., 1951, стр. 63.
- ³¹ Временник Ивана Тимофеева. Подготовка к печати, перевод и комментарии О. А. Державиной, М.; Л., 1951, стр. 64.
- ³² Временник Ивана Тимофеева. Подготовка к печати, перевод и комментарии О. А. Державиной, М.; Л., 1951, стр. 64.
- ³³ Временник Ивана Тимофеева, стр. 80—81.с34
- ³⁴ Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени, стлб. 532.
- ³⁵ Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени, стлб. 563.
- ³⁶ Точку зрения Е. Н. Кушевой на это произведение как на основу для позднейшей "Повести 1606 г.", известную только в составе "Иного сказания", считаю доказанной (Из истории публицистики Смутного времени XVII в. Уч. зап. Саратов унив. т. V. Саратов, 1926).
- ³⁷ А. Попов. Изборник, стр. 193.
- ³⁸ А. Попов. Изборник, стр. 186—187.
- ³⁹ А. Попов. Изборник, стр. 188 и 189.
- ⁴⁰ А. Попов. Изборник, стр. 189.
- ⁴¹ А. Попов. Изборник, стр. 192.
- ⁴² А. Попов. Изборник, стр. 192.
- ⁴³ А. Попов. Изборник, стр. 198.
- ⁴⁴ А. Попов. Изборник, стр. 198.
- ⁴⁵ Временник Ивана Тимофеева, стр. 151.
- ⁴⁶ Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени, стр. 556.
- ⁴⁷ Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени, стр. 264.
- ⁴⁸ А. Попов. Изборник, стр. 192.
- ⁴⁹ А. Попов. Изборник, стр. 201.
- ⁵⁰ А. Попов. Изборник, стр. 189.
- ⁵¹ А. Попов. Изборник, стр. 193.
- ⁵² А. Попов. Изборник, стр. 197.
- ⁵³ А. Попов. Изборник, стр. 186.
- ⁵⁴ А. Попов. Изборник, стр. 188.
- ⁵⁵ А. Попов. Изборник, стр. 195.
- ⁵⁶ См. главу 4.